ПЕТР ПЕРЦОВ

РАННИЙ БЛОК

КОСТРЫ-МОСКВА
1922


КОСТРЫ

ПЕТР ПЕРЦОВ

РАННИЙ БЛОК

Костры — Москва
1922

Р. В. Ц. № 8-5 Печ. 2000 эк.

Типография Т-во „Книгоиздательство Писателей в Москве“. Моховая, д. 1 16

> ... Принялась ты опять
> Светлый бисер на нитки низать,
> Как когда-то, ты помнишь, тогда...
> О, какие то были года!
> Но, когда ты моложе была,
> И шелки ты поярче брала,
> И ходила рука побыстрей.
> Так возьми-ж и теперь попестрей,
> Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу,
> Побеждал пестротой эту мглу...
>
> *Александр Блок.*

I

Это было золотою осенью 1902 года. Стоял мягкий летний сентябрь, когда под Петербургом природа иногда еще замедляет праздник своего расцвета и точно не хочет с ним расстаться. Западный ветер приносит с моря долгий ряд дней, похожих друг на друга, напоенных последней лаской лета... Наш литературный кружок той осенью готовился к

своему боевому делу — создавался журнал „Новый Путь“. Журнал религиозно-философский — орган только недавно открытых, кипевших тогда полной жизнью петербургских первых религиозно-философских собраний, где впервые встретились друг с другом две глубокие струи — традиционная мысль традиционной церкви и новаторская мысль с бессильными взлетами и упорным стремлением — мысль так называемой „интеллигенции“... И, наряду с этим, вырисовывавалась другая задача: нужно было дать хоть какой-нибудь простор новым литературным силам, уже достаточно обозначившимся и внутренно-окрепшим к тому времени, но все еще не имевшим своего „места“ в печати, почти сплошь окованной „традициями“, более упорными, чем оффициальная церковность. Все эти „декаденты“, „символисты“ — как они тогда именовались — так быстро затем, во второй половине десятилетия, захватившие поле сражения — еще не знали для себя пристанища, не имели где преклонить голову. Трудно поверить, что Сологубу негде было печатать своих стихов, а „Мелкий бес“ лежал безнадежно, тщательно переписанный в синих ученических тетрадках, в „портфеле“ своего автора, даже не странствуя по редакциям — в виду очевидной бесплодности такого путешествия. Брюсов был

мишенью постоянного и неутомимого обстрела газетных юмористов („бледные ноги“); Мережковскому извинялись его стихи, „похожие на Надсона“, и полу-одобрялись „декадентские“ романы (первые две части трилогии), но свою критику ему также негде было печатать, а „Толстой и Достоевский“ увидел свет только благодаря мужеству С. П. Дягилева, упрямо печатавшего его в течение двух лет в чисто художественном по заданию „Мире Искусств“...

Это недавно так было —
И так давно, так давно...

Итак, той осенью небольшой „декадентский“ кружок собрался издавать (без денег и без возможности платить гонорар) синтетический „Новый Путь“, беспрограмная „программа“ которого должна была вести куда-то вдаль... Во главе дела стояли Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, а так как обстоятельства и выбор кружка сделали меня третьим (и внешне-„ответственным“) со-редактором, то и приходилось часто видаться с первыми двумя на почве „злободневных“ редакционных вопросов. Именно эта необходимость заставила меня в том сентябре сесть в поезд Варшавской железной дороги и направиться в Лугу, где в усадьбе, стоявшей в густом лесу, Ме-

режковские ловили последние минуты дачных радостей, последнюю лазурь и золото сентября —

> И догорающего лета
> На всем дрожащие лучи...

Известно, какое множество стихотворных рукописей присылается в каждую редакцию с тех самых пор, как изобретено стихосложение или как изобретены редакции. Поэтому в каждый такой приезд мне приходилось сообщать Мережковским, или обратно, то или иное количество—„новых“ стихов. Это было, так сказать, очередной „редакторской“ неизбежностью. Иногда попадались между такими стихами недурные, даже хорошие...

Но только один раз у меня было совсем особое впечатление...

Помню как сейчас широкую серую терраму у старого барского дома, эту осеннюю теплынь и Зинаиду Николаевну Гиппиус с пачкой чьих-то стихов в руках. „Прислали (не помню от кого)... какой-то петербургский студент .. Александр Блок... посмотрите... Дмитрий Сергеевич забраковал, а по моему как-будто недурно“... Что Дмитрий Сергеевич забраковал новичка — это было настолько в порядке вещей, что само-по-себе еще ничего не говорило ни за, ни против. Забраковать сперва

он, конечно, должен был во всяком случае, что не могло помешать ему дня через два, может быть, шумно „признать“. Одобрение Зинаиды Николаевны значило уже многое, но все-таки оно было еще очень сдержанным. Поэтому я взял стихи без недоверия, но и без особого ожидания. Я прочел их...

Это были стихи из цикла „Прекрасной Дамы“. Между ними отчетливо помню: „Когда святого забвения“... и „Я, отрок, зажигаю свечи“... И эта минута на осенней террасе, на даче в Луге, запомнилась навсегда. „Послушайте, это гораздо больше, чем недурно: это, кажется, настоящий поэт“ — я сказал что-то в этом роде. Ну, уж вы всегда преувеличите—старалась сохранить осторожность Зинаида Николаевна. Но за много лет разной редакционной возни, случайного и обязательного чтения „начинающих“ и „обещающих“ молодых поэтов только однажды было такое впечатление: пришел большой поэт. Может быть, я и самому себе, из той-же „осторожности“, не посмел тогда сказать этими именно словами, но ощущение было это. Пришел кто-то необыкновенный; никто из „начинающих“ никогда еще не начинал такими стихами. Их была тут целая пачка — и все это было необыкновенно. Ведь тут были: „Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...“;

„Новых созвучий ищу на страницах...“; „Я к людям не выйду на встречу...“; „Гадай и жди...“; был „Экклезиаст“. Поражала прежде всего уверенность поэта — та твердая рука, которой все это было написано: это был уже мастер, а не ученик. Я думаю, во впечатлении, после темы (тоже необыкновенной) прежде всего господствовала именно эта черта — полной зрелости таланта, полной уверенности в том, что он хочет сказать и что говорит. Черта так непохожая на обычную „юношескую“ неопределенность и несобранность „начинающих“. Что из них выйдет — Фет, Майков, Надсон? Как будто есть ото всех понемногу — или пусть от кого-нибудь одного, но тогда, пожалуй, еще хуже: „выйдет“-ли что-нибудь? — здесь не было этого вопроса: облик поэта стоял отчеканенный, ясный. И этот почерк — такой уверенный, отчетливый, и такой красивый! Я и сейчас не знаю почерка красивее, чем у Александра Блока.

Но подкупала, конечно, и тема. Точно воскресала поэзия Владимира Соловьева — ее последние, лучистые озарения. Это казалось прямо каким-то чудом: только два года перед тем замолчала муза мыслителя-ясновидца, и вот вдруг ее звуки переходят на новую лиру — кто-то пришел, как прямой и законный

наследник отозванного певца; он уже все знает и ведает, и ведет дальше оборвавшуюся песнь, как заранее знакомое слово о т о м-ж е с а м о м.

Я и теперь считаю „Стихи о Прекрасной Даме“ самым чудесным из чудес Блока и его дебют самым удивительным началом...

С той поры я почувствовал ту особую нить, которая протянулась между мною и автором этих стихов, и он стал для меня особым, „знающим“, — тем, с кем внутренно не расстанешься. И теперь, перечитывая его письма ко мне, я нахожу в них и „с той стороны“ ощущение той-же нити...

Скоро он пришел к нам и в редакцию — высокий, статный юноша, с вьющимися белокурыми волосами, с крупными, твердыми чертами лица и с каким-то странным налетом старообразности на все-таки красивом лице. Было в нем что-то отдаленно-байроническое, хотя он нисколько не рисовался. Скорее это было какое-то неясное и невольное сходство. Светлые, выпуклые глаза смотрели уверенно и мудро... Синий студенческий воротник подчеркивал эту вне-временную мудрость и странно ограничивал ее преждевременные права. Блок держался, как „начинающий“, —.

он был застенчив перед Мережковским, иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким авторитетом. З. Н. Гиппиус была для него гораздо ближе, и юношеская робость таяла в ее сотовариществе — он скоро стал носить ей свои стихи и литературно беседовать. Влияние Мережковских надолго сказалось на Блоке: еще в самом конце девятисотых годов он выступал не раз в религиозно-философских кружках с докладами на темы и в духе этого влияния; к счастью, его поэзия осталась, кажется, совсем свободной от него.

На редакционных собраниях „Нового Пути“ Блок появлялся довольно аккуратно, хотя отсутствие сверстников — по крайней мере, первое время — замыкало его в некоторую изолированность. Но журнал был для него „своим“ — и не мог не быть ему близок.

В эти первые месяцы знакомства — в недели подготовительных для начала журнала работ — я получил от Блока первое письмо. Оно сразу и прямо сказало мне то, о чем молчал (и должен был молчать) он при свиданиях. В этом письме ощутительно протянулась та „нить“ и желание „сказать“ превозмогло мудрость хранения:

1.

Многоуважаемый Петр Петрович

Спасибо Вам. Ваше письмо придало мне бодрости духа. Главное-же, что мне особенно и несказанно дорого, — это то, что я воочию вижу нового Ее служителя; и не так уже жутко стоять у алтаря, в преддверии грядущего откровения, когда впереди стоите Вы и Владимир Соловьев Я могу только сказать (или даже вскрикнуть) чужими, великими, бесконечно дорогими мне словами:

„Давно уж ждал друзей я этих песен...
. . . .
„О, как мой день сегодняшний чудесен!"

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок.

5 ноября 1902 г.
СПБ.

Петербургская сторона, Гренадерские казармы, кв. № 13.

Цитата из Фета, замыкающая письмо, указывает поэтические корни Блока. Фет был для него действительно всегда дорогим именем, и он досадовал на ту забывчивость, с

которой русский читатель уже успел отойти от этого имени после несколько холодного „признания“ в эпоху восстановления прав поэзии в 80—90-е годы. Но не лежит-ли часть вины здесь и на самом Фете: не был-ли в чем-то холоден и сам учитель, не договаривавший того, о чем договорил ученик?

II

В „Новом Пути“, после первого, дебютного номера (январь 1903 г.), было решено применять систему печатания стихов по авторам: т. е. в каждой книжке помещать одного какого-либо поэта в ряде пьес, напечатанных вместе, взамен традиционной системы — рассыпать разнохарактерные „вещицы“ различных авторов по всей книжке журнала, „на затычку“. Нехитрая реформа, но тогда и это было новшеством. Так февральская книжка была отдана Сологубу, а март предназначался для З. Н. Гиппиус. Но она сама пожелала уступить этот месяц Блоку: март казался самым естественным, даже необходимым месяцем для его дебюта: март — месяц Благовещенья. Со стороны молодого журнала была некоторая отвага в таком решении: выдвигать уже в третьей книжке дебютанта, о котором заранее

можно было сказать, что „широкая публика“ (публика 1903 года!) не примет его, как своего певца. В „портфеле“ редакции, т. е. в ящиках письменного стола, лежали стихи Минского, Мережковского и такого общеприемлемого для всех времен (хотя прекрасного) поэта, как Фофанов. Но хотелось „пустить“ Блока — и именно в марте... „Букет“ его стихов составился легко и был подобран самим автором, как можно видеть из следующего, второго его письма ко мне:

2.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Посылаю Вам два старых стихотворения — „Отрок“ и „Святое забвение“. Вместо первой строки в стих. „Странных и новых ищу на страницах“ предлагаю Вам два варианта: „Новых заветов ищу“... или „Новых мерцаний ищу“... Мне кажется лучше существительное с прилагательным, чем два прилагательных. В стих. „Отрок“ я изменил слово „сладостный“ на „ласковый“. В стих. где Ангел запевает в трубу, мне не удалось изменить последней строфы, потому не посылаю его Вам. Стих. с панихидами“ и „милой красой“ — также, тем более, что Вам оно не нравится вообще Заглавие ко всему отделу я попросил-бы по

ставить: „Из Посвящений“. С большими буквами очень-бы хотелось поступить так, как Вы предлагали. В подписи прошу Вас очень поставить мое имя полностью (Александр Блок) во избежание смешения меня с моим отцом, что было бы ему неприятно. Порядок стихов мне бы хотелось определить самому, если можно, уже по корректурным листам. Взамен двух вышеупомянутых стихотворений не согласитесь-ли Вы принять следующие два, или одно из них? Прилагаю их. Если Вам не понравится, не надо совсем, кажется набирается и без них до 14-ти.

Преданный вам
и готовый к услугам

Александр Блок.

1 февраля 1903.—СПБ.

Всего было напечатано („Новый Путь“, 1903, III; стр. 48—59; „Из Посвящений“. Стихотворения Александра Блока) десять стихотворений:

1) „Предчувствую тебя. Года проходят мимо —“...
2) „Новых созвучий ищу на страницах“...
3) „Гадай и жди. Среди полночи“...
4) Старик („Под старость лет забыв святое“...)

5) „Когда святого забвения“...
6) „Я, отрок, зажигаю свечи“...
7) Экклесиаст („Благословляя свет и тень“...)
8) „Я к людям не выйду навстречу“...
9) „Царица смотрела заставки“...
10) „Верю в Солнце Завета“...

Первое из них осталось первым (после пропилейного „Вступления“) и в сборнике Стихи о Прекрасной Даме“ (изд. 1905 г.)— очевидно, оно было магистральным в мысли самого Блока. В сборнике оно напечатано без изменений против журнала (только текст разбит на двустишия вместо четырестиший, и поставлена пометка: 1901 — „Шахматово“ так рано созрел внутренний облик поэта!). Во втором первая строка, после неудачных вариантов предложенных в письме, установилась все-таки, в сцеплении существительного с прилагательным: „Новых созвучий ищу“... В сборнике оно стоит на третьем месте (после стихотворения „Вхожу я в темные храмы“)... и напечатано также без всяких изменений, как и все остальные стихотворения этого дебюта: так уверенно писало перо Блока. Стихотворение «где ангел запевает в трубу» есть, конечно, изумительное стихотворение: „Целый год не дрожало окно“, в котором, в оконча-

тельной отделке, как раз последняя строфа сложилась в такой совершенный строй:

Но, ложась в снеговую постель,
Услыхал заключенный в гробу,
Как вдали запевала мятель,
К небесам подымая трубу.

Стихотворение с „панихидами“ и „милой красой“ есть общеизвестное и превосходное стихотворение: „Мы встречались с тобой на закате“, которое тогда читалось так (курсив отмечает изменения):

Мы встречались с тобой на закате,—
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи,
Ввечеру—на песчаной косе
Загорались *какие*-то свечи,
Кто-то думал о *милой* красе.

Приближений, сближений, сгораний
Не приемлет лазурная тишь.
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни *мечты*, ни любви, ни *обиды*—
Все померкло, прошло, отошло.
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.

Впоследствии Блок переработал его, и в своем теперешнем виде оно было напечатано

во второй серии его стихов—в № 6 «Нов. Пути» за 1904 г. и так, с незначительными лишь поправками, перепечатано в „Стихах о Прекрасной Даме“ (стр. 25).

Среди рукописей сорока двух стихотворений Блока, у меня имеющихся,— которые он частью присылал в «Новый Путь», частью переписывал лично для меня,—тоже стихотворение читается с вариантами 5-й, 11-й и 12-й строк:

Были стройны безмолвныя встречи...
. . . .
Перед нами в вечернем тумане
Молчаливый клонился камыш...

Любопытно желание Блока видеть свою фамилию в печати непременно вместе с именем, причем он не заметил даже—очевидно, в поспешности письма, что семейная оговорка, который он мотивировал это желание, явно несостоятельна: его звали Александр Александрович, следовательно имя „Александр“ нисколько не устраняло гипотезы об авторстве его отца, если такая гипотеза была в самом деле возможна.

„С большими буквами очень бы хотелось поступить так, как Вы предлагали»,—за этой строкой скрывался целый сложный план. „Новый Путь“, как журнал религиозно-свет-

кий, был подчинен целым двум цензурам— светской и духовной, в которую направлялись корректуры религиозного или „похожего“ на то (по мнению светского цензора) содержания. Большие буквы стихов Блока подчеркнуто говорили о некоей Прекрасной Даме— о чем-то, о ком-то,—как понять о ком?

Белая Ты, в глубинах не смутима,
В жизни—строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина.
. . . .
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета.
Вижу очи Твои.

От таких стихов не только наш старомодный и угрюмо подозрительный „черносотенец“ Савинков (светский цензор журнала, очень к нему придиравшийся) мог впасть в раздумье... Стихи с большими буквами могли легко угодить в духовную цензуру и хотя она в общем была мягче светской, но в данном случае и она могла смутиться: менестрелей Прекрасной Дамы не знают русские требники. И без того, отправляя стихи в цензуру, мы трепетали вероятного—минутами казалось: неизбежного—запрещения. Большие буквы... ах, эти большие буквы!—именно они-то и выда-

вали, как казалось, автора с головой. „Не пропустят“... И тут вдруг кому-то в редакции мелькнула гениальная мысль: по цензурным правилам нельзя менять текста после „пропуска“ и подписи цензора, но ничего не сказано о чисто-корректурных, почти орфографических поправках, как например перемена маленьких букв на большие. Итак почему-бы не послать стихи Блока в цензуру в наборе, где не будет ни одной большой буквы, а по возращении из чистилища, когда разрешительная подпись будет уже на своем месте, почему-бы не восстановить все большие буквы на тех местах, где им полагается быть по рукописи? Так и было сделано—и вероятно, эта уловка спасла дебют Блока: цензор вернул стихи без единой помарки и не заикнулся о духовной цензуре—хотя при встрече выразил мне недоумение: «странные стихи»... Но ведь странными должны были они показаться далеко не одному благонамеренному старцу Савинкову.

Мартовская книжка—лучшая книжка журнала за оба года его существования (в ней между прочим, журнальный дебют А. М. Ремизова)—вышла из двойных кавдинских ущелий цензуры только в самом конце месяца. В „Новом Пути“ помещались цинкографические снимки, подбором которых имелось в

виду натолкнуть читателя на более культурные предпочтения, чем те, к каким он традиционно привык в 1903 году. Давались обыкновенно воспроизведения картин Ренессанса и т. п. Для марта мы решили подобрать своего рода художественный антураж к стихам Блока и поместили в листе его стихов четыре „Благовещенья“ — Леонардо из Уффиций, деталь—голову Марии с той-же картины, фреску Беато Анжелико из флорентийского монастыря св. Марка и алтарный образ нашего Нестерова из придела в Киевском соборе. Блоку была приятна эта иллюстрация и он горячо благодарил меня за нее. Журнал и он уже вполне знали друг друга.

Какое было впечатление от появления первых стихов Блока? Разумеется, как и следовало ожидать, впечатление едва-ли не самого „курьезного“ из курьезов курьезнейшего журнала. „Новый Путь“ считался вообще какой-то копилкой курьезов в нашей журналистике. Только духовные круги серьезно интересовались религиозно-философской стороной журнала, да из среды молодежи постоянно приходили сочувственные весточки; все „серьезное“ и веское или игнорировало „этих полусумасшедших“, или старалось их литературно изолировать, как зараженный элемент (эти старания в конце концов подрезали журнал).

Стихи Блока были прямо на руку этим спасателям: какие-то „совершенно непонятные“ стихи, Бог весть о чем,—какая-то Дева, Заря, Купина, какой то Дух... большие буквы...

Признаюсь, никоим образом не ожидал я тогда, что пройдет всего четыре-пять лет— и Блок, после „Балаганчика“ станет популярным, а, там вскоре и „знаменитостью“. Популярность его в молодежи стала обозначаться еще раньше. Но правда, что „Балаганчик“, так-же как и вся социальная сторона Блока наметились и развернулись уже позже; в эпоху „Прекрасной Дамы“ даже трудно было их предвидеть. И я продолжаю думать, я надеюсь, что стихи его дебюта, так же как и все стихи его первой книжки, остаются и до сих пор мало популярными...

Характерно, что во всей огромной переписке со мной Брюсова тех годов (1902—1904 гг.) я встречаю только одну строчку о Блоке—и какую? „Блока знаю“—пишет он осенью 1902 г.—„он из мира Соловьевых. Он—не поэт“.—Правда, что вскоре при личном свидании, по прочтении стихотворений „Я, отрок, зажигаю свечи“ и „Когда святого забвения“, этот краткий и столь безапелляционный приговор был взят обратно. А весной 1903 г. когда мы с Брюсовым ехали вместе из Петербурга в Москву, вскоре после мар-

товской книжки, у него сложились ночью под стук поезда эти превосходные стихи (карандашная запись которых до сих пор хранится у меня):

Они Ее видят! они Ее слышат!
С Невестой Жених в озаренном дворце!..
. . . .
Железные болты сорвать бы! сломать бы!..
. . . .

(Напечатано в сборнике «Urbi et orbi» под заглавием: „Младшим").

Следующая серия стихов Блока была напечатана уже в 1904 году, в июньской книжке — последней, редактированной мною. Всего было подобрано двенадцать стихотворений, но три из них зачеркнуты цензурой и в печати появилось только девять:

1) „Целый год не дрожало окно" (Андрею Белому).
2) „Погружался я в море клевера"...
3) „Мы встречались с тобой на закате"...
4) „Я вырезал посох из дуба"...
5) „У забытых могил пробивалась трава"...
6) „И снова подхожу к окну"...
7) „Ты у камина, склонив седины"...
8) „Потемнели, поблекли залы"...
9) „Я, изнуренный и премудрый"...

Все эти стихотворения были перепечатаны

потом в сборнике о Прекрасной Даме, опять-таки без всяких поправок, — за исключением пьесы „И снова подхожу к окну“, не вошедшей, повидимому, ни в один сборник и опущенной вероятно, потому, что она слишком напоминает Фета (особенно конец).

Три зачеркнутых цензурою стихотворения были следующие:

1) „Был вечер яростно багровый“... (с посвящением И. Д. Менделееву)—№ VII рукописи;

2) «Мой любимый, мой князь, мой жених»... —№ XI рукописей;

3) «Я—меч, заостренный с обеих сторон»...—№ XII (заключительный) рукописи.

Последние два вошли в сборник о Прекрасной Даме: стр. 61—62 (небольшие поправки) и стр. 50 (без поправок). Что до первого, то я не нахожу его в изданиях Блока, и потому позволяю себе перепечатать его в приложении к этой книжке — вместе с двумя другими из моего архива, также не вошедшими в отдельные сборники, и может быть, даже не бывшими вовсе в печати. Там же читатель найдет два стихотворения из первых сборников Блока, имеющие в моих рукописях значительные разночтения сравнительно с печатной редакцией: 1) «Вступление» (в моей рукописи «Ante lucem» из «Стихов о Пре-

красной Даме» (вместо шестой и седьмой строф, читаются три строфы — по моему впечатлению, несравненно лучшие) и 2) упоминаемый ниже «Последний день» из «Нечаянной Радости» (варианты в всех строфах).

Я не помню в тогдашней критике сколько-нибудь ярких отзывов о дебютных стихах Блока. Впрочем, кому было бы и написать такой отзыв? Скабичевскому? Михайловскому? М. Протопопозу? А. Б. (Ангелу Богдановичу) из «Мира Божьего»? «На перзых ролях» были тогда все вышеупомянутые «силы». В беглом-же газетном обстреле, которому постоянно подвергался «Новый Путь», летела, вероятно, шрапнель и на этот вновь наметившийся «квадрат». Стихи Блока ведь еще несколько лет потом пугали газетных ценителей — так же, как после 1907 года стали умилять их... В не лишенных остроумия пародийных фельетонах Буренина того времени появлялся во всяком случае в нашей „новопутейской“ компании поэт Блох, вместе с философом Мистицизмом Мистицизмовичем Миквой (Вас. Вас. Розанов)

III

Все знают Блока, как поэта и театрального автора, но не очень многие, как критика и вообще теоретического писателя. Между тем эта сторона обозначилась в нем с самого начала: в той-же мартовской книжке «Нового Пути» он дебютировал и как журналист: две рецензии—на перевод «Героинь Овидия» Д. Шестакова (подписана одной буквой Б.) и на книжку „Близость второго пришествия Спасителя“ полковника Бейнингена (подписана *Ал. Бл.)* принадлежат его перу. Любопытно в первой (очень короткой и очень похвальной) уроненное в последних строках замечание: „Овидий принадлежит к тому несомненному и „святому“ (Пушкин), что должно светить нам „зарей во всю ночь“.—чисто блоковская строка. Вторая резко изобличает механический апокалиптизм отставного полковника,

„математически“ высчитывавшего на досуге, „пользуясь немецкими сочинениями“, точный срок пришествия Христова. Можно понять, что эта «арифметика» почти лично оскорбляла поэта, в душе которого пело предчувствие:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли...

Около того-же времени я получил от Блока третье и четвертое письма:

3.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Письмо Зинаиды Николаевны, повидимому, бесследно пропало на почте. Посылаю Вам письмо, автор которого не желал бы разоблачить своего имени. Не найдете-ли возможным напечать его в Мартовской книжке? Прилагаю стихотворение Бугаева, которое он мне прислал.

Преданный Вам

Ал. Блок.

28 II 1903. Спб.

На том-же листке рукою Блока переписано стихотворение Белого «Встреча» („Вельможа встречает гостью")—эта типичная сомовская картинка (пьеса и посвящена Сомову).

4.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Сейчас получил Ваше письмо, если позволите в понедельник (3 марта) зайду к Вам в редакцию, сделав все поправки, какие Вы указали. Автор письма очень держится за подпись „Алчущая и жаждущая", может быть возможно оставить? Очень радуюсь, что Бугаевские стихи Вам понравились. Он сам пишет, однако, что только отдыхает в них „о т в с е т о й - ж е д у м ы" (N. B.—курсив Блока, как и во всех письмах. *П. П.*), и что в стихах не он сам, „а кто-то посторонний" ему.

Преданный Вам.

Ал. Блок.

1 марта 1903. Спб.

В „Новом Пути" существовал отдел «Из частной переписки», в котором помещались отголоски, доходившие из публики на темы близкие журналу. Письмо за подписью „Ал-

чущая и жаждущая“ (принадлежавшее матушке Блока) предназначалось для этого отдела. Почему-то оно не было помещено (вероятно, последовало veto Мережковских).

В интересе к стихам Бугаева ясно обнаружилась та связь творческого братства, которая проходит через всю жизнь Блока и соединяет его имя с именем Андрея Белого в такую же мистическую пару единого духовного явления, как (чтобы взять близкие примеры) имена Минского-Мережковского, Гиппиус-Сологуба, Бальмонта-Брюсова, Ал. Добролюбова-Коневского. Замечательно, что в нашем литературном символизме все крупные имена расположились в этом отчетливом парном сочетании. То-же самое явление, столь же отчетливо, дала русская живопись, начиная с середины и за всю вторую половину XIX го века. Ал. Иванов-Федотов, Ге-Перов, Крамской-Репин, Шишкин, Куинджи, Ярошенко, Вл. Маковский, В. Васнецов, Нестеров. И разве не ту-же диаду уже давно отметили у себя немцы, упорно соединяя „двух одинаковых молодцов“—Гете и Шиллера, и недавно нашли у себя англичане, когда рядом с так долго одиноким именем Байрона стали ставить имя Шелли?

Блок несомненно смутно для сознания это весьма отчетливо для чувства ощущает у

связь. В эти первые годы именно к Белому тянуло его больше всего. И его первая подписанная им полной подписью статья была статья о Белом—в четвертой книжке «Нового Пути», за тот-же 1903 г. Статья эта была настолько лирически-субъективна, представляла собственно не „критическую" статью, а такой зов другой, родной души, что мы поместили ее даже не в отделе „Литературной хроники", а в отдел „Из частной переписки". Ее краткость и выразительность для Блока (да и Белого) тех дней соблазняют меня извлечь ее из потемок старого журнала:

Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1902.

Все это снилось мне когда-то. Лучше: грезилось мне на неверной вспыхивающей черте, которая делит краткий сон отдохновений и вечный сон жизни. Просыпаясь внезапно, после трудов и сует, я подходил к окну и видел далеко, в резких тенях, точно незнакомые контуры зданий. А наверху шевелилась занавеска, готовая упасть, скрывая от меня сумерки Богопознания! Это-ли снилось мне, пришедшему из усталости, отходящему в усталость, робкому прохожему? И, как свеча, колеблемая ветром на окне, я смотрел

вперед—в ночное затишье—и назад в дневное убежище труда.

„Приближается утро, но еще ночь“ (Исаия). Ее музыка смутна. Звенят мигающие звезды, ходят зори, сыплется жемчуг; близится воплощение. Встала и шепчет над ухом—милая, ласковая, ты-ли?

„Что-то в слово просится, что то недосказано, что-то совершается, но—ни здесь, ни там“ (Вл. Соловьев). Я обернулся. Никого.

Но „имеющий невесту есть жених“ (Иоанн). Он прежде других узнает голос подруги. Стремящийся в горы слышит голос за перевалом. Ты не уснешь в „золотисто-пурпурную» ночь. Утром—тихо скажешь у того-же окна: здравствуй, розовая Подруга, сказка, заря. Кто рассказал ее тебе? „Что этой ночью с тобой свершилося? Ангел надежд говорил ли с тобой?“ (Вл. Соловьев).

Я говорю, что это не книга. Пускай гадает сердцеведец, торопится запоздалый путник и молится монах. „Уж этот сон мне снился“.

Александр Блок.

Так, вместо рецензии, получилось еще одно стихотворение из цикла Прекрасной Дамы, которое только проиэаическая форма не допустила в сборник Следовало-бы, однако,

собрать в один венок все эти оброненные лепестки раннего цветения Блока, которые дорисовывают нам его образ.

В той-же апрельской книжке напечатана еще коротенькая ироническая заметка о романе Зарина „Спирит“ (в „Литературной хронике“; подпись *Ал. Бл.*). И затем до конца 1903 года Блок отсутствует в журнале (помнится, летом он уезжал куда-то). Только в январе 1904 г. появились (в „Литературной хронике“) сразу три его рецензии: о сборниках Бальмонта „Будем как солнце“ и „Только любовь“ (полная подпись)—типичная рецензия о maitr'e; о трилогии А. Ягодина „Из древнего Рима“ (подпись *Ал. Бл.*) и о сборнике Федора Смородского „Новые мотивы“ (та-же подпись)—обе иронические. Этим рецензиям предшествовали, еще в декабре, два письма:

5.

Многоуважаемый Петр Петрович!

Рецензии на книги Брюсова и Бальмонта будут готовы не позже 10 декабря. Посылаю Вам 15 моих стихотворений, из которых Вы, может быть, выберете некоторые для „Нового Пути“. Некоторые из них, известные Вам с прошлого года, я старался переделать; не знаю, удалось-ли. Некоторые — совсем не-

давно написаны. Я должен Вам признаться, что задумываюсь о сборнике своих стихов, который согласился напечатать „Гриф“, конечно, не раньше будущей осени. Потому мне было бы очень важно еще напечататься у Вас. Если Вам не понравятся эти стихи, у меня есть еще старые и новые. Прошу Вас, многоуважаемый Петр Петрович, если у Вас будет время, написать мне об этих стихах. Скажите мне, есть-ли в них что-нибудь новое, сравнительно с прежним. Также, если можно, известите меня о том, нужно ли мне писать рецензии на Сологуба и на Коневского?

Любящий Вас

Александр Блок.

1 декабря 1903 г.
Спб.

6.

Многоуважаемый и милый Петр Петрович.

Спасибо Вам за Ваше неизменное отношение ко мне и стихам моим, и особенное спасибо за простое и откровенное письмо. Для меня это так важно всегда, когда дело идет о важных и неважных вещах, а между тем откровенности кругом почему-то ужасно мало — в Петербурге. А из Москвы она, как вода жизни жаждущему часто дается даром.

В Вас, если Вам это не обидно, я всегда чувствовал что-то московское. Для меня это очень много, потому что в Москве я потерял Соловьевых и приобрел Бугаева. А за последнее время Скорпион вызывает очень большие дозы личной моей благодарности, издавая свои книги. Кстати — мои рецензии, боюсь, не годятся Вам — они длинны, но от души.

Мои стихи, которые я послал Вам, я буду считать свободными (т. е. если встретится возможность, напечатаю где-нибудь), списки же, если они Вам нравятся, оставьте лично у себя, в знак моей неизменной преданности Вам. Если рецензии Вы найдете возможными, буду ждать Коневского, о котором, пожалуй, придется также написать длинно, а об остальных книгах собираюсь написать маленькие рецензии.

Любящий и уважающий Вас

Ал. Блок.

9 XII 1903. СПБ.

Это характерно-юношеское письмо, с жалобами на недостаток откровенности в Петербурге и с типично-петербургской идеализацией Москвы и „московского", ярко обрисовывает Блока тех, ранних лет. Снова упомянут Бугаев... Что до рецензий, якобы слиш

ком длинных, то у Блока как раз они выходили обычно чрезвычайно сжатыми: в них была та же насыщенность слова, что в его стихах, — и это самосомнение нужно объяснить только молодой неуверенностью.

Следующая серия писем относится к весне 1904 года:

7.

Многоуважемый Петр Петрович.

Из стихов, которые я посылал Вам, напечатано только одно („Темная, бледно зеленая детская комнатка"). Стихотворение „Фабрика" („В соседнем доме окна желты") вычеркнул московский цензор „Грифа".

Посылаю Вам еще несколько стихотворений на выбор. Позвольте мне на-днях зайти к Вам в редакцию и переговорить, потому что я очень скоро уеду из Петербурга. Рецензии непременно постараюсь приготовить к маю.

Преданный Вам

Александр Блок.

15 апреля 1904 г.
СПБ.

В стихотворении „Фабрика“, столь предусмотрительно вычеркнутом цензурой, едва-ли не впервые прозвучала новая, „социальная“ струна блоковской поэзии. Помню озадачивающее впечатление этих стихов и их яркого начала:

В соседнем доме окна желты.
По вечерам, по вечерам
Скрипят чернеющие болты;
Подходят люди к воротам..

Грубый чекан этих ударяющих, как молот кузнеца, строк был так непривычен под пером поэта „Прекрасной Дамы“. Но очень скоро обнаружилось, что здесь приоткрылось новое лицо автора, что романтика идеализма сменяется романтикой действительности (ибо в самом реализме Блока всегда бродили туманные дымы иллюзорности — подобные туманам Достоевского). Неясный абрис „Незнакомки“ уже предносился в душной тесноте этой пьесы...

8.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Посылаю Вам рецензии на Бальмонта и Вяч. Иванова, боюсь, что черезчур длинно и местами коряво. Думал, как переменить стихотворение „Потемнели, поблекли залы“, и

придумал только один плохенький вариант последней строфы:

У дверей королевы прекрасной
Я рыдал в плаще голубом.
И, шатаясь, вторил ужасный
Незнакомец с бледным лицом.

Может быть, можно оставить по-старому? Прилагаю еще одно стихотворение, на место этого, если оно не пойдет. А вариант мой уж очень плох.

Преданный Вам
Александр Блок.

Никол. ж. д., ст. Подсолнечная,
именье Шахматово, 27/IV 1904.

В пьесе „Потемнели, поблекли залы" нас (редакцию) долго смущало алогическое построение последних стихов: строгий логизм был еще слишком внедрен русскому читателю всей предъидущей литературой. Блоку мы предлагали варианты, равно неудачные, и, к счастью, строки остались в конце-концов без изменений.

Рецензии на Бальмонта („Горные вершины") и Вяч. Иванова („Прозрачность") были напечатаны в той-же июньской книжке, что и стихи, — за полной подписью автора. Эти рецензии длиннее прежних, но все таки не

слишком длинны. Отношение к Бальмонту здесь гораздо свободнее и даны некоторые ограничения („Никто не подаст спасительно руки, указующей на целое, на полноту. И хочется, чтобы кто-то протянул эту руку",— последние строки). Иванов уже вовсе не „учитель" для Блока, и он дает его характеристику с чувством товарища по общему делу.

К маю 1904 г. относится последнее письмо периода „Нового Пути":

9.

Многоуважаемый Петр Петрович.

Благодарю Вас очень за письмо и за оттиски. Если мои стихи будут напечатаны в июньской книжке, нельзя-ли мне будет получить такие же оттиски и с них?

Посылаю Вам рецензию на Брюсова в самом сухом тоне, я никак не могу написать менее лирическую. Мне кажется, „Urbi et orbi" — факт неисчерпаемый и громадный.

Решительно не могу придумать варианта сколько-нибудь приличного, вместо „тот самый". Посылаю Вам еще пять стихотворений, из ненапечатанных, одним из которых можно заполнить пробел. „За рамой" мне не хочется.

У меня к Вам огромная просьба, многоуважаемый Петр Петрович. Если еще напишете мне, при случае, вложите в письмо Брюсовского „Бледного коня“, которого я перепишу и сейчас же возвращу Вам. Решаюсь обратиться к Вам, потому что, если просить Брюсова, — он укусит. А для меня это было-бы существенным прибавлением к домашнему обиходу.

Преданный Вам и любящий Вас
Александр Блок.

10 мая 1904. Никол. ж. д.
ст. Подсолнечная. Им. Шахматово.

Это письмо красноречиво свидетельствует о том обаянии, которое автор „Urbi et orbi“ и „Коня бледа“ имел для юного Блока. Конечно, я послал ему стихотворение Брюсова. Под его впечатлением, как он сам отметил впоследствии в примечаниях к „Нечаянной Радости“, было написано стихотворение Блока „Последний день“ („Ранним утром, когда люди не хотели шевелиться“) — это ужасное стихотворение, в котором апокалипсизм обыденщины выявился в таких жутких очертаниях. Талант Блока раскрывался все более с этой, „грешной“ своей стороны... Любопытно сопоставить для его характеристики „Последний

день" с „Бледным конем" — изящный, „столичный" урбанизм Брюсова, полный механического движения, с психологизмом Блока, с этим его надрывом и трагедией человеческого „я": облики обоих поэтов предстают в законченных чертах...

Рецензия на Брюсова (помещена в июльском № „Нового Пути" за 1904 г.) есть собственно уже целая статья (больше пяти страниц). И она говорит все о том-же влиянии. Великолепный сборник Брюсова, сразу понятен Блоку во всем его значении: в тогдашний литературный момент это было доступно, вероятно, только „младшим". Несколько странное впечатление производит только упорное сопоставление с Владимиром Соловьевым — очевидно, слишком владевшим тогда духовной жизнью Блока. Зато мимоходом обронено меткое наблюдение о „змеиной скользкости": „мысль Брюсова всегда гладка, как чешуя змеи, не сразу дающейся в руки..."

Статья о Брюсове была последним прозаическим вкладом Блока в „Новый Путь". В ноябре, при изменившейся редакции (Булгаков и Бердяев — тогда „идеалисты") были помещены еще два его стихотворения: „Песня Офелии" и „Зимний ветер играет с терновником". — С 1905 г. „Новый Путь" был заменен идеалистическими „Вопросами Жизни".

IV.

Прошло два года... С января 1906 г. я редактировал небольшой литературный листок „Понедельники газеты Слово“ — приложение к этой газете, издававшейся (в Петербурге) в 1905—6 г.г. моим двоюродным братом, инженером п. с. Ник. Ник. Перцовым. В листке я постарался сгруппировать что было возможно из „настоящей“ литературы: в нем появлялись Брюсов, Сологуб, Иннокентий Анненский (псевдоним „Ник. Т-о“), Садовской, Гумилев. Естественно было позвать и Блока. Он ответил мне согласием и стал довольно деятельным сотрудником. К этому времени относятся шесть его писем:

10.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Я давно уже собираюсь зайти к Вам и все не могу исполнить этого, все мешает что-то внешнее. Большое спасибо Вам за Ваше письмо и за Ваше отношение к моим стихам.

На этих днях непременно зайду к Вам в „Слово“ и принесу Вам лично стихи, о которых Вы пишете (Брюсов уже взял их в „Весы“), и кроме того несколько стихотворений, из которых, может быть, Вы найдете возможным выбрать что-нибудь для газеты. За Ваше предложение о рецензиях на „Фейные сказки“ и „Stephanos“ (о последнем я уже писал в „Руно“) большое спасибо, но прежде мне-бы хотелось поговорить с Вами об этом лично, потому что я опасаюсь своего неумения написать достаточно понятным стилем.

Непременно приду на этих днях от 6 до 7 часов, как только кончу срочную работу — рецензию о „Свободной совести“ для „Весов“.

Неизменно и искренно
любящий и уважающий Вас

Ал. Блок.

28 января 1906 г.

Несколько дней спустя я получил еще письмо, которое печатаю не без смущения, но из переписки письма не выкинешь:

11.

31 янв. 1906 г.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Получил Ваш подарок „Венецию“, которую читал с глубокой нежностью и благодар-

ностью еще в „Новом Пути“. Большое спасибо Вам за книгу и за надпись, такую лестную и такую дорогую для меня. Опять буду читать и перечитывать и помнить уроки Вашего „стиля“, в котором я давно чувствую великое и родное — дыханье истинной тишины тех самых „поздних времен“. Я знаю (пережил), что бывает, когда читаешь Ваши книги, или статьи, часто даже независимо от содержания (публицистика-ли, или политика, или „Венеция“ или „Профессор Сумцов“. Начинается тихая весенняя капе́ль, и вот — поднимаешь глаза на окно, а уж сумерки, и знаешь, что весна, и в небе серый клуб облака наплывает на другой, и проплывет мимо, и откроется нежная лазурь и талый снег зацветет. Боже мой, сколько Вы знаете! Это то самое, что Андрей Белый называет „страной“ и о чем мы с ним часто говорим, переглядываемся или просто молчим, когда нет человеческого „сквозняка“.

Спасибо за то, что поместите в „Слове“ стихотв. Смородскому (конечно, можно назвать его „Летний сон“) и о Лермонтове.

Граф Сэн-Жермэн и „Московская Венера“ совсем не из Лермонтова. Очевидно, я написал так туманно об этом, потому что тут для

меня многое разумелось само собой. Это — „Пиковая Дама“, и даже почти уж не Пушкинская, а Чайковского (либретто Модеста Чайковского):

Однажды в Версале aux jeux de la reine
Venus Moscovite проигралась до тла...
В числе приглашенных был граф Сэн-Жермэн
Следя за игрой...
И ей прошептал:
Слова, слаще звуков Моцарта....
(Три карты, три карты, три карты)...

и т. д. — Но ведь это пункт „маскарадный“ („Маскарад“ Лермонтова), магический, пункт, в котором уже нет „пушкинского и лермонтовского“, как „двух начал петерб. периода“, но Пушкин „аполлонический“ полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского — мага и музыканта, а Лермонтов, сам когда-то побывавший в бездне, встал над ней и окостенел в магизме, и кричит Пушкину вниз: „Добро, строитель!“ Это — „все, кружась, исчезает во мгле“. Конечно, если это туманно написано, просто можно вычеркнуть. Я путаюсь в этом страшноватом для меня пункте. — Спасибо, спасибо!

Искренно любящий Вас

Ал. Блок.

Здесь уже чувствуется автор „Магического" („основной отдел", по определению самого поэта, в „Нечаянной Радости") и прорываются приближающиеся вихри „Снежной Маски".

12.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Два раза я спрашивал „Руно" о рецензии на Вашу „Венецию" и, почему-то, не получил ответа. Не могу писать, пока не ответят. О Л. Андрееве для „Слова" все еще не пишу, потому что не присылают „Журнала для всех", на который я давно подписался.

Посылаю Вам три мал. рецензии. О двух мы говорили (Маковский и Никто, — Маковский испачкан, потому что был уже в наборе в „Вопросах Жизни"); а третья — о двух книжонках, совсем незначительных. Я писал ее тоже для „Вопр. жизни", если найдете возможным, поместите.

Псевдонима я все еще не придумал, м. б., пока можно подписывать рецензии *Ал. Бл.* или просто *А. Б.*?

Преданный и любящий Вас

Ал. Блок.

11 февраля 1906 г.

13.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Посылаю Вам две рецензии и четыре стихотворения. Рец. о Сиповском так длинна, потому что касается общих выпусков, которые, оказывается, вышли оба недавно.

Боюсь, что не успею зайти и повидать Вас до Вашего отъезда. Сегодня С. В. Штейн говорил мне, что вы едете уже в понедельник. Если успеете, очень прошу Вас написать мне в двух словах, годятся ли прилагаемые стихи и пойдут-ли те 5 моих рецензий (о Бальмонте, Сиповском, Шницлере, Никто, Костомаровой и Русском,—шестую о „Книге отражений" Анненского напишу на-днях), которые у вас лежат. Я испугался, потому что Сергей Влад. говорил, что предполагается иначе поставить библиографию в „Слове".

Желаю Вам всего самого лучшего.

Искренно любящий Вас

Ал. Блок.

23 февр. 1906.
Петерб. сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

14.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Извините, что не захожу и не пишу о Л. Андрееве. У меня государственный экзамен, который отнимает все время; между тем, хочется писать и об Андрееве и еще кое о чем. Боюсь, что еще месяца два придется оставаться глухим и слепым. Потом надеюсь наверстать потерянное время. Если можно отложить Анненского („Книгу отражений“), напишите мне; если нельзя—занесу ее в редакцию. Извините, что затрудняю Вас, ужасно досадую на себя.

Ваш *Алекс. Блок.*

7 марта 1906.

15.

Многоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Спасибо за письмо. Пожалуйста, напишите Брюсову, я уже ему написал.

Искренно Ваш

Ал. Блок.

31 марта 1906.

К сожалению, у меня под руками находятся только девять №№ (2, 11—13 и 15—19) „Понедельников“ газеты „Слово“ (в июле этого года газета прекратилась). В этих №№ помещены следующие стихотворения Блока: „Белый конь чуть ступает усталой ногой“... (№ 13, от 15 мая 1906 г.), „Ночь“ („Поднялась стезею млечной...)—(№ 16, от 12 июня), „Полюби эту вечность болот“... (№ 18, от 26 июня) и „Двойник“ (№ 19, от 3 июля). Первые три вошли без изменений в сборник „Нечаянная радость“, последнее-же осталось вне этого сборника (его нет также в следующем сборнике „Земля в снегу“, 1908). Между тем, оно особенно характерно для тогдашнего Блока: его по справедливости можно назвать одним из эмбрионов близкого „Балаганчика“ (как известно, немало таких эмбрионов можно найти на страницах „переходной“, по определению самого Блока, „Нечаянной радости“):

Вот моя песня—тебе, Коломбина,
Это—угрюмых созвездий печать:
Только в наряде шута-Арлекина
Песни такие умею слагать.

Двое - мы тащимся вдоль по базару,
Оба—в звенящем наряде шутов.
Эй, полюбуйтесь на глупую пару,
Слушайте звон удалых бубенцов!

Мотив Прекрасной Дамы едва мелькает в этих пыльных, „площадных“ строфах:

Там, где на улицу в звонкую давку
Взглянет и спрячется розовый лик,—
Там мы войдем в многолюдную лавку:
Я—Арлекин и за мвою—старик...

. . . .

Там голубое окно Коломбины,
Розовый вечер, уснувший карниз...

Блок в этом стихотворении, как юноша с „ломающимся“ голосом, новый тембр его еще не установился, но чувствуется иная пора—наростающей возможности.

В № 12 нахожу еще переводную пьесу Блока: стихотворение „Цирцея“ С. Ш. Леконта (вошла в сборник „Зима в снегу“, стр. 104—5). Блок переводил так редко, что стихотворение должно было чем-нибудь особенно подкупить его, чтобы вызвать к этой работе. В данном случае это вполне понятно: в пьесе есть та тягучая сладостная сонливость мечты, которой запечатлены многие стихи самого Блока:

Год миновал. Мы пьем среди твоих владений,
Цирцея,—долгий плен.
Мы слушаем полет размерных повторений,
Не зная перемен...

. . . .

И венчики цветов, таясь, полураскрыли
Истомные уста.

Но вечной свежестью и диких роз, и лилий
Сияет чистота...

Самый напев этих строк—совсем блоковский, того периода, когда над ним еще были властны очарования фетовской гаммы звуков. Замечательно, что даже в этом небольшом звене пяти стихотворений—дважды по крайней мере приходится вспоминать имя Фета. Ибо пьеса „Белый конь чуть ступает усталой ногой"... снова вызывает в звуковой памяти напевы „Вечерних огней": „Ночь лазурная смотрит на скошенный луг"...

В остальных №№ „Понедельников" и в самой газете были напечатаны, по крайней мере, еще 3 стихотворения Блока (я нахожу их у себя в вырезках): 1) „Старость мертвая бродит вокруг" (перепечатано в „Нечаянной Радости", стр. 116, с добавлением еще одной, последней строфы); 2) „Летний сон (пастораль)"—в („Нечаянной Радости", стр. 119—120, без заглавия и с посвящением Фед. Смородскому, но без разночтений; и 3) „Оставь меня в моей дали" „Нечаянная Радость"; стр. 108, почти без перемен). Возможно, что были помещены и другие стихи, у меня не сохранившиеся.

В № 2 приложения была напечатана рецензия Блока на брюсовский „Венок", о которой он упоминает в своем десятом письме.

Она написана „достаточно понятным стилем" и внушает публике необходимость пересмотра взглядов на „декадентство" („это уже или ничего не значащее, или бранное слово"). Брюсов представлен, как освободившийся от молодых грехов—как „поучительный пример быстрого и здорового перерождения литературных тканей". „Венок" обнаруживает его связь с Пушкиным: „это поэт пушкинской плеяды". В то же время брюсовская лирика „открыла новые страны в современности": „Венок" отражает кроме идей будущего, еще идеи настоящего, преломляя их в свете „лиризма". Наконец, рецензия отмечает умение „ковать" стихи и идеи: это черта большого поэта... Брюсов всегда закончен, чеканен".— Рядом помещена короткая рецензия на бальмонтовский перевод Эдгара По (второй том в изд. „Скорпиона"). Отмечено расхождение со своей эпохой и позднейшие литературные влияния По („конечно, „символисты" обязаны По больше всех"). Снова символизм противополагается здесь „узкому декадентству"—это была боевая позиция школы в тот момент. Бальмонт охарактеризован, как лучший русский переводчик По, умеющий сохранить „очаровательную напевность" подлинника.

В дальнейших №№ встречаются еще две рецензии Блока: в № 16 довольно длинный

(полтора столбца) отзыв о сборнике S. Ch. Lecomte „Le sang de Méduse“, из которого взята „ Цирцея“, и в № 19—о сборнике новейшей французской лирики „Tristia“. Возможно, что перу Блока принадлежит также незначительная рецензия в № 17 о рассказах В. Девисона, подписанная одной буквой „*Б*“, и нет сомнения, что еще несколько его отзывов найдутся в неимеющихся у меня №№ „Приложений“, а может быть, и в самой газете (за 1905 г.).

Отзыв о Леконте интересен для освещения теоретической сознательности Блока. Стихи французского автора он характиризует, как „образец поэзии, знающей свои берега... умеющей построить рядом с собой необходимую стенку эстетических законов“. Поэзия этого типа остается ему чуждой, хотя он отдает должное аполлоническим достоинствам этих „благовоспитанных стихов“. Но „кровь Медузы“ разбавлена здесь водой“ — автор „приплюснул зерно мифа грубой житейской мудростью“. Тогда как „ведь стихи—кровные дети поэта, и хоть некоторые из них он должен до боли любить“... Сказки наши—меч та,—да воплотит ее новое дыхание Бога!..“ Вспоминается триумф „магического“ Лермонтова над низвергнутым в бездну Пушкиным... Скоро Блок сделается поклонником и проро-

ком Розанова (см. особенно его предисловие к стихам Аппол. Григорьева)—этого пушкинского антипода, самого „хаотического“ гения русской литературы. И в самом Блоке все более и более будет брать верх „подземная“ стихия—до тех пор, пока в разухабистом, темпе „частушек“ — темпе „Двенадцати“—не растворятся совсем заревые звуки гимнов Прекрасной Даме и мелодические отражения фетовского контрапункта.

V

Когда теперь бросаешь общий взгляд на поэзию Блока — прежде всего мечется в глаза ее резкая двойственность: Блок — поэт Прекрасной Дамы и Блок — поэт Незнакомки. Один и тот же этот лик в двойственном видении, или два разных призыва, две вражды? В заключение первого отдела „Нечаянной Радости“ „Весеннее“, еще столь близкий по духу к весне „Прекрасной Дамы“ Блок поставил удивительное стихотворение („Молитва“ — в моей рукописи):

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится имя Твое!..

Центральный отдел сборника „Магическое“ он начал с „Незнакомки“:

И медленно, пройдя меж пьяными.
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука...

Но сквозь новый образ, как сквозь видение новой любви, проступают еще далекие, привычно милые черты:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу...

„Нечаянная Радость“, действительно, переходный, сборник. Свою третью книгу „Земля в снегу“ Блок начал с длинного предисловия, где старался уяснить самому себе ломающийся зигзаг пути. Повидимому, ему опять становилось „страшновато“, когда он подходил к магическому „пункту“ своей дороги. Стихи юности для него в этот момент—лишь „ранняя утренняя заря—те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь“. Однако, он помнит, что звезда раннего утра возвращается, как вечерний Веспер: „Чародейный, Единый Лик... который посетит меня на исходе жизни. Может быть, скоро уже Он явится мне опять, и тогда пойму, что перегнулась линия жизни и близится закат“. Об этом писал я ему, этого желал для него, получив от него в Ялте в 1907

„Снежную маску“ и в 1908 третий сборник — с надписями, свидетельствовавшими о целости «нити»... Как известно — случилось иное: Блок не вернулся из снежных вихрей. Его последней песнью осталась поэма „Двенадцать“... Говорят, он усиливался и не мог ничего написать после нее (и одновременных „Скифов“). По крайней мере, не написал ничего значительного. Ранняя смерть вдруг оборвала все... Ему минуло едва сорок лет.

Тайно сердце просит гибели.
Сердце легкое, скользи...
Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези...

. . . .

В снежной маске, рыцарь милый,
В снежной маске ты гори!..

. . . .

Я думаю, когда будут подведены итоги русскому литературному движению последнего двадцатипятилетия, именно Блок останется (опять-таки в сочетании с Белым), как поэт наиболее связанный со своей эпохой. В самом деле, именно в ней новое, «символическое» течение достигло своего внешнего, эпического обнаружения. До тех пор оно все еще замкнуто внутри себя, настроено лирически, питается внутренними переживаниями

Как ушли в себя Гиппиус, Сологуб; как полон собою Бальмонт!

Я ненавижу человечество,
Я от него бегу, спеша.
Мое единое отечество—
Моя пустынная душа...

Эти строки вылились у него искреннее всех его бесчисленных „описательных" строф и всех его порываний в историческую действительность. Он объездил весь земной шар и никуда не ушел из своей пустыни... Брюсов первый делает упорные и настойчивые попытки создать „объективную" поэзию, стать певцом истории. Но как археологичны эти попытки! Он создал интересный и полный музей исторических слепков — изящно-тонких, иногда вдохновенных миражей былого. Перед современностью он оказался без оружия, робко повторяя очередные мотивы злободневных веяний...—Переходя к Блоку, впервые вступаешь на подлинную почву истории: с ним новая поэзия овладела ключами прошлого. Я беру его поразительные „Стихи о России". Их первые звуки прозвучали еще в „Нечаянной Радости" (стихотворение „Русь"):

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.

Дремлю—и за дремотой тайна,
И в тайне—ты почиешь, Русь.

. . . .

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел...

Куликово поле открыло ему пути своих просторов, озарило потерянные дали пламенем своих костров:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь—стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы ночной и зарубежной
Я не боюсь.

. . . .

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

Дух русской истории—динамизм ее волшебного стремления—может быть, нигде не почуялся так, как в этих уносящих строках. Развертывается впереди базмерный горизонт—вот-вот откроется тайна, обещанная в веках...

Он чувствует остро все облики России. Вот знакомая, столько раз оплаканная убого-милая Русь—Некрасова, Тютчева, славянофилов:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею

—он роняет эти слова истинной любви, непреклонной веры.

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты...
. . . .
Ну, что ж? одной заботой боле—
Одной слезой реки шумней,
А ты все та-же—лес да поле,
Да плат узорный до бровей.

И только чуть мелькнул перед нами этот нестеровский образ, как поэт уходит к другим виденьям:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы—дети страшных лет Росии —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!..

Лик России начинает двоиться .. Не та ли это раздвоенность пути, которая увела и самого

поэта? В главном стихотворении сборника „о России“ он уже отчетливо видит оба образа:

„Ты стонишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.
За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.
. . . .
Там приникнешься ты богомольной,
Там старушкой приникнешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами—кресты да кресты...
Только ладан твой синий и росный,
Просквозит мне порою иным...
. . . .
Сквозь земные поклоны, да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи,—
Шопотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Опять Нестеров, Мельников-Печерский— леса Заволжья с их пугливо-смелыми красавицами; может быть, Грушенька Достоевского — ее изменчивая верность...

И вдруг резко врывается совсем новая нота:

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой дали...
. . . .
Путь степной—без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер—и вдруг

Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Возможно ли поверить, что стихи эти были написаны до 1917 года (книжка издана в 1915 г.)?

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная стонет руда...
Ты над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

Который же—подлинный лик? Кто был самим собой — Блок „Прекрасной Дамы“ или Блок „Двенадцати“? Или двойная дорога ведет обоих—„роковую“ родину и ее певца? Как отшвырнул-бы Петр „Стихи о Прекрасной Даме“; как прильнул-бы к ним царевич Алексей, если бы он жил в XX веке! Рука палача сожгла бы „Двенадцать“ в старой Москве; эта поэма останется в русской литературе, как поэтическое зеркало, запечатлевшее в своих излучинах революционные вихри.

И, может быть, еще раз был он пророком? В „Скифах“ не предсказана-ли вторая половина нашей великой социальной перемены? Не видел-ли поэт, сквозь дым мерещивших-

ся ему гуннских пожаров, наши грядущие „наполеоновские войны“—тот размах универсализма, который неизбежно вырвется из кипящего во всю русского, славянского, восточного котла,—и может залить „благовоспитанный“ Запад:

Виновны-ль мы, коль хрустнет ваш скелет
  В тяжелых, нежных наших лапах?
. . . .
Мы широко по дебрям и лесам
  Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
  Своею азиатской рожей!

Никто не чувствовал так стихийности России—этого азиатского ее лика; в то-же время никто не ощущал так проницательно, так пряно ее-европейских соблазнов:

Нам внятно все—и острый галльский смысл
  И сумрачный германский гений...
Мы помним все—парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат
  И Кельна дымные громады...

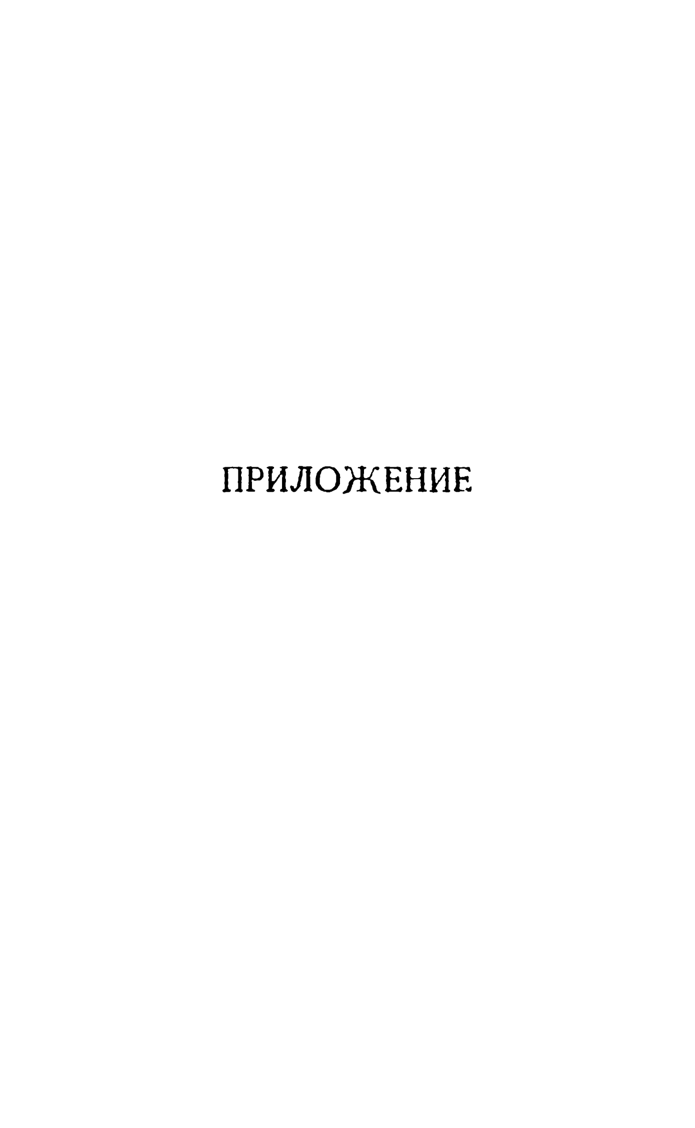
Мудрено-ли, что, двойственный, он выразил запечатлел в своем слове больше, чем кто-либо из его современников, ее двоящийся образ, и стал певцом нашей России?..

Но, прощаясь с обликом поэта, я все-таки люблю вызывать его весеннюю мечту:

Ты молчаливо стоишь у окна.
Вся Ты весной залита, зажжена.

Ты-ли—Царевна звенящей мечты?
Где купола для Тебя отлиты?

Где колокольные звоны гудят,
Только поднимешь Ты ласковый взгляд?..



ПРИЛОЖЕНИЕ

I

И. Д. Менделееву.

Был вечер яростно багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый —
Младенца Дева родила.

На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.

И было знаменье и чудо:
Сквозь детский плач и женский крик
Среди толпы возник Иуда,
Христа предавший ученик.

Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы.
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.

II

Передо мной—моя дорога
Хранитель вьется в высоте.
То—Ангел, ропщущий на Бога
В неизъяснимой чистоте.

К нему не долетают стоны,
Ему до неба—взмах крыла
Но тайновиденья законы
Еще земля превозмогла.

Он, белокрылый, звонко бьется,
Я отразил его мятеж.
Высоко песня раздается,—
Здесь—вздохи те-же, звуки те-ж.

И я тянусь, подобный стеблю,
В голубоватый сумрак дня,
И тайно вздохами колеблю
Траву, обнявшую меня

III

Осень поздняя. Небо открытое.
И леса сквозят тишиной.
Прилегла на берег размытый
Голова русалки больной.

Низко ходят туманные полосы,
Пронизали тень камыша.
На зеленые длинные волосы
Упадают листы, шурша.

И опушками отдаленными
Месяц ходит с легким хрустом и глядит.
Но запутана узлами зелеными
Не дышит она и не спит.

Бездыханный покой очарован.
Несказанная боль улеглась.
И над миром, холодом скован,
Пролился звонко-синий час.

IV

Ante Lucem.

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.

Дольнему звуку чужда—и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга.

Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.

Кто поджигал на заре терема,
Что воздвигала Царевна Сама?

Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к Тебе.

Ты молчаливо стоишь у окна.
Вся Ты весной залита, зажжена.

Ты ли Царевна звенящей мечты,
Где купола для Тебя отлиты?

Где колокольные звоны гудят,
Только поднимешь ты ласковый взгляд?

Где ты меня на закатах ждала,
Терем зажгла, ворота отперла?..

(Ср. сборник „Стихи о Прекрасной Даме“;
„Вступление“).

V

Ранним утром, когда люди старались не шевелиться,
Предчувствуя однообразие серого дня зимы,—
В комнате проснулись мужчина и блудница,
Проснулись в пьяном запахе, среди мглы и тьмы.

Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи.
Оплывший огарок мелькал в оплывших глазах.
Сквозь холодное кривое стекло дрожали белые женские плечи.
Мужчина перед обломком зеркала расчесывал пробор в волосах.

Она была в рубашке. Утро не обмануло.
И была она сегодня, как смерть, бледна.
Еще вечером под фонарем ее лицо блеснуло
И в этой комнате была она влюблена и пьяна.

А сегодня так безобразно повисли складки рубашки
И на линиях тела был утренний серый налет.
Углами торчала мебель. Валялись окурки и бумажки.
И ужасен был в комнате красный комод.

И внезапно — быстрее вьюги — ярче пожара
Сверкнуло сознанье, разбивая утренний лед
Женщина выпрямилась, освобождаясь от угара,
И в окне под обнаженной рукой зазвездился пролет.

Влетели звуки. Верба, раздувшая почки,
Раскачнулась под ветром, осыпая последние снега.
В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки.
И вверху и внизу зашевелилась стена

Под окнами во дворе выбегали за ворота,—
Улицу скрывал дощатый забор.
Мальчишки, женщины, дворники — заметили
что-то.
Махали руками, чертя незнакомый узор.

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.
И на грязном снегу, среди улицы, где люди
собрались,
Женщина блудница — от ложа пьяного же-
ланья,
На коленях, в рубашке, поднимала руки
ввысь.

Там—над домами—в тумане снежной бури,
На месте полуденных туч и полунощных
звезд,
Розовым зигзагом—в новоявленной лазури
Тонкая рука распластала тонкий крест.

(Ср. в сборнике „Нечаянная Радость“:
изд. 2 „Мусагета“, стр. 88—56).

ТЮТЧЕВІАНА — Эпиграммы, афоризмы, остроты Ф. И. ТЮТЧЕВА (неопубликованные матеріалы). Предисловіе ГЕОРГІЯ ЧУЛКОВА.

Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД — Похвала праздности. Сборник статей.

ПЕТР ПЕРЦОВ — Ранний Блок.

Печатаются:

КОСТРЫ—Книга вторая.

Подготовляюся к печати

сборники—**Феникс**.

Предполагаемое содержание первой книги:

Стихотворения. — Ф. И. Тютчева, Александра Блока, Анны Ахматовой, Федора Сологуба; рассказы и повести:—Бориса Зайцева, Виктора Мозалевскаго, Николая Архипова; статьи: — Николая Бердяева, Павла Флоренского, Л. П. Карсавина, Георгия Чулкова, С. Л. Франка, Б. П. Вышеславцева и др. материалы историко-литературные письма — Ф. И. Тютчева, Владимира Соловьева, Александра Блока.


КОСТРЫ